



НЕЗАБЫТЫЙ

К 200-летию Льва Мея

по "молодой редакции" журнала "Москвитянин", которую возглавлял. Правда, в отличие от Григорьева, к учению Гегеля Лев Мей оставался равнодушным, предпочитая мир живых образов миру философской диалектики и тем самым отстраняясь от "гегельянской горячки", чуть позже блистательно описанной одним из братьев Жемчужниковых (Алексеем или Александром — на этот счёт источники расходятся во мнениях):

*В тарантасе, в телеге ли
Еду ночью из Брянска я —
Всё о нём, всё о Гегеле
Моя дума дворянская.*

Думы Мея — об ином. Не о феноменологии Духа. Они — о красоте материального мира: о красоте природы, о женской красоте. О любви, чувственной и плотской. Вот как описывает он свою героиню — молодую крестьянку в стихотворении "Вихорь" (1856):

*Против нашей Дони
Поискать красотки.
Разве что далёко,
А в соседстве нет...
Косы по ладони;
Грудь, как у лебёдки;
Очи с поволокой;
Щёки — маков цвет...*

Здесь, наверное, необходимо отметить уникальное и по-своему органичное сочетание в поэтическом творчестве Льва Мея двух образных традиций: классической и фольклорной. Они не сплетаются между собой и не сливаются воедино, каждая существует сама по себе. Подражания античной поэзии и переводы из неё плюс переложения "Песни песен" ("еврейские песни") занимают в его наследии не меньшее место, чем попытки писать в духе народной (крестьянской) русской поэзии, которыми увлекались многие сторонники нарождающегося славянофильства.

При желании можно заметить даже целое "генеалогическое древо" данной традиции: от Алексея Кольцова через Льва Мея к Николаю Некрасову, далее к "поэтам-народникам" и "крестьянским поэтам", от них — к Сергею Есенину (с участием Николая Клюева) и, наконец, к Александру Твардовскому, от которого (не в организационном плане, а в творческом) тянутся корни "деревенской прозы" уже 1960-х—1980-х годов.

Помните есенинское: "Хороша была Танюша, краше не было в селе... Душегубкою-змеёю развилась её коса?" У Александра Блока — не исключено, что прообраз (и антипрообраз) его же гулящей Катьки из "Двенадцати":

*Под насыпью, во рву некошеном,
Легит и смотрит, как жуяча,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая...*

Да, эти сопоставления могут показаться случайной перекличкой образов, созданных разными поэтами и никак не связанных между собой. Но только не самим поэтам. А сомневаться в том, что и Есенин, и Блок знали поэзию Мея, которая в годы их молодости находилась на пике популярности, не приходится.

Кстати, достаточно известное противопоставление Некрасовского и блоковского отношения к "женской природе" нашей Родины: "Матушка-Русь" у Николая Алексеевича и "Русь моя! Жена моя!" у Александра Александровича, — тоже не замкнутая система, состоящая только из двух элементов (и перепетая в известной песне советских времён: "Как невесту Родину мы любим, бережём, как ласковую мать..."). В одном из последних своих стихотворений, "Отроковица" (1861), Лев Мей, сам бездетный, проводит великопелену, на мой взгляд, и вполне "чаадаевскую" по истокам своим аллгорию между Россией и евангельской дщерью Иаира, умершей и воскрешённой Иисусом Христом, именую нашу страну "тысячелетняя отроковица" (тогда как раз готовились к празднованию тысячелетия Руси).

ВСЮ НОВИЗНУ и пророческую глубину этого образа (Родина-дочь), его внутреннее богатство даже трудно переоценить, это тема, заслуживающая отдельного рассмотрения. Но понятно, что такое понимание России предполагает и особое, "родительское" отношение к ней (здесь для дополнительного контраста можно привести и строки Константина Бальмонта 1908 года: "Сестра моя и маты Жена моя! Россия!").

Возвращаясь к теме "опоздания" Льва Александровича Мея в пушкинский круг, можно сказать, что волей или, скорее, неволей, поэт оказался одним из первых литературных "разночинцев" — и непомерно высокой ценой, включая зависимость от алкоголя. Сравним описания кутежей пушкинского Евгения Онегина и попоек в "молодой редакции" журнала "Москвитянин", в кружке Аполлона Григорьева:

*К Талон помчался: он уверен,
Что там уж ждёт его Каверин.
Вошёл: и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток.
Пред ним roast-beef окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром пубургским живым
И ананасом золотым.
Ещё бокалов жажда просит
Запить горячий жир котлет,
Но звон брегата им доносит,
Что новый начался балет...*

И: "Тут были и провинциальные актёры, и купцы, и мелкие чиновники с распухшими физиономиями — и весь этот мелкий сброд, купно с литераторами, предавался колоссальному, чудовищному пьянству". Как говорится (здесь особо прошу прощения у сторонников абсолютной трезвости и заодно у сторонников Абсолютного Духа), самое важное — не что и сколько ты пьёшь, даже не как и чем закусываешь, а — с кем ты пьёшь и чего ради, собственно. В пушкинском аристократическом кругу — пировали равные и ради самой радости жизни, пусть даже это был пир во время чумы. В григорьевском разночинном — пили разные и ради недолготого отвлечения от тяжести своей жизни. И эта матрица намертво укрепилась в душе Льва Мея. Самый расхожий эпизод из его биографии связан с одним из ужинов у графа Григория Кушелева-Безбородко, который сам занимался литературным творчеством, публикуя свои

прозаические произведения под псевдонимом Грицко Григоренко, и стал главным покровителем поэта в Санкт-Петербурге, даже начав трёхтомное издание его сочинений. Поэту на этом ужине якобы предложили сочинить экспромт, и он, помедлив немного, выдал следующие четверостишие:

*Графы и графини,
Счастье вам во всём.
Мне же — лишь в графине,
И притом большом.*

Другой известный эпизод связан с именем Александра Дюма-отца, которого Кушелев-Безбородко уговорил посетить Россию и, когда тот приехал в Санкт-Петербург, поселил его в своём дворце (в тех покоях, где останавливалась Екатерина II), едва ли не каждый вечер давая званые ужины в честь своего гостя, на которых побывал чуть ли не весь имперский свет. На одном из таких приёмов крепко выпивший Мей начал упрекать автора "Трёх мушкетёров", что тому слава и деньги важнее подлинного искусства. Как утверждали свидетели, Дюма тоже вспылил, и дело едва не закончилось вызовом на дуэль... В общем-то, весьма значимый момент для понимания того, чем жил и что ценил Лев Мей, у которого чувство зависти и стремление к личному успеху отсутствовало в принципе: хоть в пьяном, хоть в трезвом состоянии. Правда, отличие было: будучи трезв, Мей никакой агрессии не проявлял — напротив, всю свою жизнь, несмотря на любые личные трудности, неизменно поддерживал коллег-литераторов и словом, и делом, и даже рублём, избытка которых у него никогда не было...

ЗАВЕРШАЯ ТЕМУ, следует отметить, что в литературоведении неоднократно высказывались — например, Борисом Садовским — и мнения о том, что Лев Мей, напротив, родился слишком рано и прекрасно бы вписался в атмосферу "серебряного века": "Родись он лет на 50 позже, в лице его мы имели бы, быть может, одного из лучших современных художников..." Похоже, и то и другое утверждения истинны, если принять, опять же — гегельянский, тезис о том, что развитие любой сложной системы загадочным образом идёт "по восходящей спирали". Конечной или бесконечной — иной вопрос...

И с этой точки зрения "посмертный" всплеск общественного интереса и внимания к творчеству поэта, несомненно, во многом связанный с именем композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова, написавшего по трём пьесам Мея "три с половиной" оперы: "Псковитянка" (первое и весьма успешное произведение автора в этом жанре, три редакции: 1873, 1878 и 1892), "Боярыня Вера Шелюга" (пролог к "Псковитянке", 1898), "Царская невеста" (получившая наибольшую популярность на отечественной сцене, 1899) и "Сервилья" (напротив, ныне почти забытая, если не считать постановки 2016 года — реж. О. Иванова, дирижёр Г. Рождественский — в Камерном музыкальном театре им. Б. Покровского, 1902), — может оказаться далеко не последним. Даже с учётом того бесспорного факта, что в пантеон сталинской школьной программы по русской литературе творчество нынешнего юбиляра не прошло, так сказать, "по конкурсу", вследствие целого комплекса причин ("чрезмерная" религиозность и монархичность в том числе, но не только).

Однако "из песни слова не выкинешь", а Льва Александровича Мея — из истории отечественной культуры. Возможно, это покажется странным, но слишком многие связи внутри неё, не только причинно-следственные и образные, но даже ценностные, самые важные, при этом окажутся оборванными, тем самым ослабляя и разрушая всю систему в целом. Здесь каждый гвоздь, пусть даже далёкий от совершенства, важен на своём месте, как это описано в известном переводе Маршак из английской народной поэзии: "Враг вступает в город, пленных не щадя, оттого что в кузнице не было гвоздя".

Георгий СУДОВЦЕВ

"ЧИСЛЮСЬ ПО РОССИИ", — так отвечал

Пушкин на вопрос о месте своей службы. И, действительно, "солнце русской поэзии" и поныне озаряет всё наше Отечество, нет уголка, куда бы ни дотягивались его лучи. Пушкин для нас — мера всех вещей, мера всех идей, мера всех заветов. На наших часах пушкинское время, в наших устах пушкинский словарь. Русская литература ждёт второго пришествия Пушкина: гения, который вновь преобразит жизнь, поднимет и помышления, и слова, и дела наши на небесную высоту. Мы ждём, что с новым поколением придёт тот пушкинский человек, о котором говорил Гоголь: "Это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет. В нём русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла".

Неведомо, каковы эти двести лет. Долги ли, коротки ли они, точно или приблизительно отмерены, но мы не раз в своей истории видели этого пушкинского человека. Он водружал красное знамя Победы над леговым врагом. Он улетал к звёздам и держал земную сферу на ладони. Он жертовал собственной жизнью, не отрекаясь от веры и не снимая нательного креста. Он вызывал огонь на себя. Кажется, ещё совсем немного и вопреки невгодам и тяготам, тоске и тьме возникнет не просто пушкинский человек, но пушкинский народ. Мы об этом мечтаем. Мечтал об этом Пушкин, ради чего и "числился по России".

ЧЕСТЬ — НИКОМУ

«Капитанская дочка» Пушкина и русская мечта

И всё же, если мыслить буквально, земно, просто, не так много мест, губерний, городов и весей, в которых удалось побывать поэту: Петербург, Москва, Крым, Кавказ, Псков, Нижний Новгород, Казань, Симбирск... Но всюду нашлась пульсировать родник, быть живым источником русской литературы. Слово шепело за Пушкиным, и там, где он хотя бы ненадолго останавливался, свивало гнездо, приживалось. Взгляните на современную литературную карту страны и вы увидите, что наиболее яркие очаги словесности горят в местах пребывания Пушкина.

Такое и Оренбуржье. Три благословенных сентябрьских дня, недолгая мелодия пушкинской лиры в наших степях — и этого хватило на века и поколения. Ради чего спешил сюда гений? Только ли ради творческого замысла? Пушкин торопился за временем, за русской историей. Стремился разгадать её загадку, её замысел. Но оказалось, что для этого недостаточно быть продолжателем дела Карамзина. Недостаточно "Истории Пугачёва", работы в архивах, чтения воспоминаний, бесед с живыми свидетелями. Факт не ключ к истории. История не логична, а промыслительна, и там, где бесил историк, нужен художник, нужна литература, нужен образ.

О ЧЁМ "КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА"? О чём этот роман — не повесть, нет, именно роман, где всего на нескольких десятках страниц из исторического события вырастает целая эпоха, философия русской жизни, русская мечта?

Ценно знать, что "Капитанская дочка" была первой книгой, изданной в блокадном Ленинграде после снятия блокады. Не "Медный всадник". Не "Полтава". Не "Евгений Онегин". Не "Каменноостровский цикл". А именно "Капитанская дочка", своей событийностью и географией далёкая от XX века и Ленинграда, посвящённая не битве с внешним врагом, а внутреннему "русскому бунту". Почему? Пережившим Блокаду важна была книга о чести! О том, что они сохранили своим подвигом в первую очередь. О том, что русский человек хранил во все времена. И оборона Ленинграда, и оборона Белогорской крепости — это оборона чести.

"Капитанская дочка" для блокадников стала спасительным довеском к тем скудным и суровым граммам хлеба. "Капитанская дочка", подобно стихам Ольги Бертольды, оказалась созвучна непоколебимому духу ленинградцев, их голофоскому подвигу.

Честь — ядро романа, мерило для каждого героя. Но это не просто дворянское достоинство, сбережённое смолоду, как платье снову. "Честный", "честной" в языке наших предков — не только "правдивый", но прежде всего "чтимый", "драгоценный", "дорогой". Некий тайник сердца, в котором укрывалась душа.

Честен в одночасье выросший из недоросля в стойкого мужа Пётр Гринёв. Честен капитан Миронов и не предавшие его, не отрешившие от присяги. Честен простой русский мужик Савельич, готовый положить жизнь за ближнего. Честна Маша Ми-

ронова — этот "чистейшей прелести чистейший образец", эта мужественная княгиня Ольга, эта выливающаяся любимого из беды Ярославна. Эта извечная русская женственность с особой кротостью и чистотой всех пушкинских героинь. Честен и Пугачёв с его самозванством, кровавой удаляю, натовченным топором, с памятьливостью на добро, с жадной всеобщей справедливости и с грёзой о рае на земле, с жизнью в один, но глубокий вдох, с плахой, с поклоном всему честному народу перед казнью. Вне чести остаётся лишь Швабрин и ему подобные, пораженные иудиним грехом, который как тля пожирал честь.

ЧЕСТЬ ВЛЕЧЁТ ЗА СОБОЮ выбор. Каждый из героев, в каждом эпизоде романа оказывается перед выбором: между удачей и плахой, любовью и смертью, судьбой и историей. Ещё в утробе матери тебя записали на службу в тихое место на краю империи, где, казалось бы, время остановилось, где вдали от русско-турецких фронтов тишь да гладь. Но у истории иной выбор, иной промысел. В непредсказуемом месте ломается хребет времени, и из разлома сочится русский бунт.

На одной чаше весов — это самый бунт. На другой — калмыцкая сказка, что из уст бунтовщика звучит страшно и пленительно: "Однажды орёл спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живёшь ты на белом свете триста лет, а я всего-навсего только тридцать три года?" — Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьёшь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орёл подумал: давай

попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орёл да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели. Ворон стал клевать да похвалять. Орёл клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон: чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там, что Бог даст!"

Орёл клюнул в темя ворована: убил мёртвое время, выпустил на волю, в степь время живое. Ах, какой простор, есть где разгуляться русскому бунту. Кровавый хмель и тёмный морок, будто буран, застит глаза, будто сон про борзодотого мужика с топором никак не отступают. Ни конца, ни предела, пока Бог не скажет с высоты: "Я создал степи не для того, чтоб видеть кровь".

Как унять всё это в русской душе? Как сопрячь в русской истории и бунт, и честь? Что одновременно вместит их? Русская мечта. Пушкин разгадал эту тайну истории. Разгадал в "Капитанской дочке", через оренбургскую степь, через пугачёвский бунт, через всепожидающую любовь.

На этот горизонт мечты будет идти русская литература. К нему прикоснутся Корolenko в "Пугачёвской легенде на Урале" и Есенин в поэме "Пугачёв". К "Капитанской дочке" потянется весь мир. Ничто так часто не будет переводить на языки всех концов света, как этот роман. Можно собрать целую библиотеку, целую коллекцию переводов. Сложно подобрать ключи к пушкинским словам, образам, мыслям. Русская мечта не поддаётся переводу, но по-прежнему остаётся притягательной.

"Капитанская дочка" — символ русской мечты — сама стала символом. В её честь в Оренбуржье уже много лет существует одноимённая литературная премия для тех, кто сохранил честь смолоду, остался верен пушкинскому слову, пушкинским высотам. Среди лауреатов премии — авторы, известные всей читающей России: Александр Проханов, Юрий Поляков, Леонид Бородин, Михаил Лобанов, Владислав Бахревский, Михаил Чванов, Геннадий Красников, Надежда Кондакова, Светлана Сырнева, Александр Торопцев, Евгений Курдаков, Николай Корсунов, Иван Уханов, Юрий Орябинский, Геннадий Хомутов, Игорь Бехтерев, Владимир Одноралов, Галина Матвиевская, Алла Прокофьева, Анатолий Теплянин, Иван Ерпылёв, Илья Кириллов, Влада Абаимова...

Вручается премия и юным авторам — тем, кого на пути ждёт ещё многое: и отстаивание традиции, и творческое бунтарство. Хочется сберечь эту премию как островок литературной справедливости, где главное мерило — талант. Сберечь так, чтобы среди её лауреатов не оказалось оккуполитературных дельцов, эпигонов, тщеславцев. Чтобы в её жюри не было "неправедных судей". Тогда тогда премия останется уютна Пушкину.

Хочется вновь и вновь перечитывать "Капитанскую дочку". Хочется прожить свою жизнь, оставаясь мечтателем, исповедником высокой русской мечты. Только такая жизнь уютна Пушкину.

Михаил КИЛЬДЯШОВ

"Скорей бросьте декларировать и опровергать, делайте вещи!"

Эль Лисицкий для журнала "Вещь"

ГЛАВНЫЙ, хотя и не единственный минус этой выставки — заявка на масштабность при том, что размах получился на трюке. Экспозиция под громкой вывеской "Российский дизайн. Избранное. 1917–2022", что работает сейчас в Новой Третьяковке, изначально подразумевает столь многое да разное, что выборка оказалась мне субъективной. Это как "Лучшие полотна Ренессанса" или "Самые красивые платья X–XX столетий". Почему это, а не то? Почему именно этот ступ? — как спросил Остап Бендер, правда, по иному поводу.

Выставка интересна, спору нет, однако зритель гаполицрует "через миры и века", скользя глазами по поверхностям. Сами по себе вещи, фотографии, эскизы — уникальны, но они, как штуки в музее, описанном Сергеем Довлатовым: "Личные вещи партизана Боснокка. Пуля из его черепа, а также гвоздь, которым он ранил фашиста... Широко жил партизан Боснок!"

Экспонируются кукол и табуретки — отменно! То же самое делает Музей Москвы, но у них всё это уютнее и креативнее. Там на зрителя обрушивается поток личных и коллективных воспоминаний, ты бродишь в лабиринтах памяти, ища ответы. Но Третьяковка пошла проторенными путями: экспонаты лежат, стоят и висят, практически не обыгранные и потому — одинокие. "Вот это ступ — на нём сидят / Вот это стол — за ним едят".

Советский и российский дизайн — это целая вселенная, а без русского авангарда, помноженного на Революцию, невозможен стиль века двадцатого, скоростного, космического, глубоко русского. Нельзя сжимать вселенную до размеров провинциального краеведения. В этом случае гораздо лучше принимается тематическая "узость" вроде "Пролетарского фарфора 1917–1932" или каких-нибудь плакатов к Олимпиаде-80. Кроме того, покорила сама формулировка — с 1917 по 1991 год у нас был советский дизайн, а не лишь российский — эта стыдливая подмена выпадает не комично.

Вместе с тем выставка информативна, и, если не придираться, можно получить удовольствие. Пространство делится на тематические разделы. Так, сначала мы попадаем в царство супрематических линий, пролетарских ститцев и наивной патетики.

Устроители не ограничились прорывными концепциями из учебников по дизайну и явили жизненный фон обывателя, которому были не особо нужны конструктивистские принты Варвары Степановой и сервизы из авангард-фарфора, созданного Николаем Суеитным — учеником Казимира Малевича. Поэтому рядом — дудлёские чашки с "мещанскими" цветочками. Когда мы говорим о той или иной эпохе, мы часто забываем, что острая мода, актуальность — это малая часть эстетического багажа. Неслучайно Ильф и Петров говорили о "маленьком мире", где написана песня "Кирпичики". На выставке мы видим примус, без которого немилосмыла era interbellum. "Не шалю, никого не трогаю, починю примус", — повторяем вслед за Бегемотом. Да тут и чайник, и кувшин, и прочее "Федорино горе".

Три умывальника — такими мы пользовались ещё на даче в 1980-х! Настольная лампа с притязаниями на изысканность — в ней ничего от радио-конструкций, но лишь попытка затормозить ускользающее Ар Нуво. И тут же — подробный рассказ о "новых кухнях" конструктивиста Моисея Гинсбурга. Он вслед за Ле Корбюзье считал, что дом — это "машина для жилья" и отводил "кулинарное пространство" 4,5 метра. Считалось, что развитый хома-сапиенс будет питаться на фабрике-кухне, а дома разогорвет полуфабрикаты. "Объявлена война кухням. Тысячу кухонь можно

ПОЭЗИЯ ВЕЩЕЙ

История дизайна в Новой Третьяковке

считать покорёнными", — утверждал Юрий Олеся в своей "Зависти", где идеалом объявлялся футболист Вольда Макаров, завидующий машинам.

Феерия шрифтов и коллажей — перед нами обложки прессы, афиши и реклама — та самая, где Владимир Маяковский оптоизировал продукцию Резинотреста. Вперёд, в будущее! Туда звали журналы "ЛЕД" и "Вещь", но увы — мы наблюдаем реальную вещь, а именно шкаф с виньетки "упадочного стиля". Реконструированные платья и спорт-костюмы от Степановой и Головой диссонироват с листками дамских изданий, где предлагалось ровно то же, что и в Париже на Рю де ля Гз.

Супрематический шик и прелести крохотных "капсул для жизни" общество не оценило — всем хотелось тепла, самоваров и занавесочек, а ещё — коринфских капителей и барочных люстр. Тогда во всём мире произошёл разворот к неоклассике, и никто уже не завидовал ярой машине, но стали завидовать античному Аполлону и полярному лётчику. Мы переходим в следующий раздел, условно поименованный советским Ар Деко.

"Когда тяжёлое известковое облако разошлось, позати глухого пустыря засверкал перед Наткой совсем ещё новый, удивительный светлый дворец!", — фантазировал Акрадий Гайдар, а дворцы роспи и множились на верхних этажах пустырях. На экспозиции роскошная мебель стоит рядышком с простецкой. Представлен заперённый гарнитур и тут же — знаковая железная кровать с пандирной сеткой.

Радиоприёмники с деревянными корпусами и тёплый, ламповый звук. Агитационный фарфор — и тот сделан из чут-чуть наполеоновским, и ампириные вазы с видами ВДНХ напоминают нам об эстетическом преемственности. Часы с будильником — вещь рабочего, учёного, наркома. Время говорит: пора, ибо, как сказал товарищ Сталин: "Отсталых — бьют!"

ДАЛЬШЕ — ОТЕПЕЛЬ и её солнечные дороги, а символом пути выступают не только ребята-походники с их гитарами, но и машины. Противопоставлены массовый "Запорожец", понравившийся Никите Хрущёву, и не пошедшая в производство стильная "Белка". Фестивальная радость, весёлые ситчики, узкие талии по моде. Созидание новостроек, воспелых Юрием Пименовым. Радиоточка поёт о романтике, в которой оказывалось больше преодолений, чем лёгкости: "Мы на край земли придём / Мы заложим первый дом / И табличку прибьём на сосне".

Вся страна — Черёмушки! Маленькие, зато свои квартиры предполагалось обставить тонкоименными столиками и узкими диванами. "Такая квартира ощущалась привалом в походе за туманами", — писали Пётр Вайль и Александр Генис в своём исследовании "60-е. Мир советского человека". Узнаваемые образцы той мебели — аскеза и точность. Фотографии из книг по эстетике помещений — тут ничего лишнего.

Правда, эти красотища уже на излёте 1960-х казались общепринятыми и бедными. Но пока молодые физики расстались с бабушкиным scarбом и думают, что юность бесконечна. Журналы наперебой предсказывали будущее: уточнялись сроки "яблоны на Марсе" и встреч с инопланетной цивилизацией.

Галина ИВАНКИНА



Экспонаты выставки: «Запорожец» ЗАЗ-965 и художественный эскиз автомобиля «Белка»